

ЮРИЙ КАЗАРИН

РУССКИЙ

ГУЛЛИВЕР

КУЛЬТУРА
ПОЭЗИИ-2

СТАТЬИ • ОЧЕРКИ • ЭССЕ

Гуманитарные исследования

Юрий Казарин

**Культура поэзии – 2.
Статьи. Очерки. Эссе**

НП «Центр современной литературы»

2019

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

Казарин Ю. В.

Культура поэзии – 2. Статьи. Очерки. Эссе / Ю. В. Казарин —
НП «Центр современной литературы», 2019 — (Гуманитарные
исследования)

ISBN 978-5-91627-204-8

Книга Юрия Казарина, известного поэтолога и литератора, «Культура поэзии – 2» является продолжением одноимённой книги, выпущенной «Русским Гуливером» в 2013 году. Книга включает в себя очерки, статьи и эссе, в которых запечатлены портреты современных поэтов и приметы особой сферы словесной культуры – культуры поэзии. Сегодня проблема культуры художественной словесности стоит как никогда остро. Автор, кроме того, в своих работах пытается осознать загадочную, не поддающуюся определению природу поэзии как феномена не только литературного, но и культурного в целом. Многие статьи и эссе публиковались в журнале «Урал» (2013–2017), а также в других изданиях.

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

ISBN 978-5-91627-204-8

© Казарин Ю. В., 2019
© НП «Центр современной
литературы», 2019

Содержание

2013	6
Она летела	6
Разведка пленом	10
Я знаю этого коршуна	15
Не зарывай	18
Крупнее жизни	21
До пятой музыки	24
2014	28
Война в войне	28
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Юрий Казарин

Культура поэзии – 2

© Ю. В. Казарин, 2017

© Русский Гулливер, 2017

© Центр современной литературы, 2017

2013

Она летела

Она летела. По ветру. Шляпа. Сначала я снял её (аккуратно и вверх, строго вертикально, как крышку с кипящей кастрюли) с головы моего спутника, а потом подбросил со всей магушки, вернее – забросил в ветер, – и она полетела. Бреющий полёт шляпы. Так себе шляпа: почти котелок, даже не старомодный, а уже невозможный. Городской ветер опустил её на дорогу и покатил дальше, на север, по ул. Мамина-Сибиряка, – покатил, как колесо, чёрно-серую, навстречу потоку машин. И – оп: тяжёлая серебристая «Волга» (не «Мерседес» и не «Лексус»), а наша родная «Волга» прихлопнула её передним левым колесом – и шляпы не стало. В магазине спорттоваров я купил моему спутнику бейсболку. И она ему очень понравилась. Хотя и шляпу было жаль, папину, древнюю, шик промзоны, выходной аксессуар, который надевали на плешивую башку, когда отправлялись в магазин, в аптеку, в кинотеатр или в Управление шахты.

В каждой деревне, в каждом селе, в посёлке, в небольшом городке (о мегаполисах молчу) есть свой достопримечательный дурак. Дурачок. Убогий. Юродивый и т. п. Мой товарищ как раз был человеком такого склада и сорта: мой сосед по Каменке. Низкорослый мужичок (ростом с сидячую собаку, – как говаривает мама Наташи), с близко друг к другу посаженными глазами, почти птичьими («Скрипцы прилетели», – говорит он обычно вместо «скворцы»; так оно и есть: скворцы вечерами сидят с набитыми животиками на деревенских алюминиевых, с узлами, проводах – и скрипят). Молчаливый. Почти не здоровается (ни с кем): зыркнет жёлтыми сталинскими глазками – всё, считай поздоровался. У него была сестра. По вечерам они ставили на старенький проигрыватель пластинки (винил) и орали – подпевали – перепевали «Валенки-валенки» и «Я под горку шла...». Сестра его в прошлом году замёрзла, пьяная, насмерть в сорока шагах от моих ворот: села в сугробик и уснула. Навсегда. Маленькая, полненькая пушистая такая тётка. Я посадил на том месте, где она в моей памяти спит до сих пор, вербу – тоже маленькую, хорошенькую, пушистенькую.

Деревенских дурачков обычно зовут Михаилами, а дурочек – Верами, Надями и Любами. Могу назвать с дюжину деревень, в которых наблюдалась такая прецедентная антропонимия. Обычно дурачок не знает и не любит никого (хотя, конечно, это не так: чаще он делает вид, что никого и ничего не помнит, – так проще), но зато деревенский юродивый знает и любит землю. У него всё растёт. И ещё как! И деревья плодоносные, и кусты, и зелень, и капуста, и картошка. И в рыбалке он удачлив. И грибы к нему в корзинку сами прыгают. Но... Есть в этом природном его родстве с землёй и в везении – любом: погодном, пахотном, хозяйственном, – что-то трагическое. Одиночество? Думаю, не только оно. Наблюдения мои за такими людьми (а они почему-то не сторонятся меня и часто тянутся ко мне – поговорить, помолчать, посмотреть в глаза) показали, что они невероятно остро чувствуют время. Помните юродивого из «Бориса Годунова»? А вот «Юродивый в 1918 году» Арсения Тарковского:

За квёлую душу и мёртвое царское тело
Юродивый молится, ручкой крестясь посинелой,
Ногами сучит на раскольников хрустком снегу:
– Ай, маменька,
тятенька,
бабенька,
гули – агу!

Дай Феде просвирку,
дай сирому Феде керенку,
дай, царь-государь,
импелай Николай,
на иконку!
царица-лисица,
бух-бух,
помалей Алалей,
дай Феде цна-цна,
исцели,
не стрели,
Пантелей!.. <...>

Дальше переписывать не стану. Остановлюсь: там про добрых красноармейцев. (На границе с РФ я бы установил предупреждающие плакаты – для иностранцев и вообще для людей с душой: «ОСТОРОЖНО: РУССКИЙ НАРОД!»). Большой на голову и светлый, чистый душой Федя уже назвал безумное время *импелаем*, *помалеем Алалеем* и абсолютно зловещей *цной-цной*. Вот и ясно всё стало. Всё встало на свои места в душе, не находящей себе места...

Она летела. Брошенная опытной рукой, она одолевала заданную траекторию. В самой высокой точке она перестала кувыряться, уравнилась, почти замерла – и рванула вниз, в окоп. Граната. Наступательная. Советского производства. В окоп. В ангольский окоп, в котором (полнопрофильном, с редутиком, с мешочками, наполненными песком, и с нишами для посидеть и полежать) трое играли в карты. Морпехи. Двое сидели спиной к фронту, один – лицом. Он сдавал (играли в двадцать одно). Выдал по одной карте по кругу, начал давать по второй... и – вдруг... не роняя карт, резко поднял правую руку вверх – не глядя, поймал гранату и кистевым броском, чуть приподнявшись, отправил её обратно. Ухнуло. «Два очка», – подвёл итог один из них, бывший баскетболист, – и попросил у гранатоловца и гранатовозвращателя ещё одну карту – к десятке и двойке: вот бы девятку...

Гранатолов был парень ростом под два метра. Он был громоздок и рыхловат. Хороший боец с лицом деревенского дурачка. (23 февраля 2013 года Коля, так звали сдающего карты, в возрасте 57 лет пустит себе пулю в лоб на даче под Питером; другой, Иван, небаскетболист, который перед дракой или боем, что для него одно и то же, всегда произносил зловещую фразу «Мейне мутер арбайтен ин колхоз», – покончил собой [петля] в 2012 в возрасте 56 лет; третий пока топчет землю и ненавидит асфальт). Когда-то я написал стихи, думая о Коле. Вот они.

Дурачок, дурачок,
отпусти домой зрачок
с неба семидонного,
людям похоронного,
или неба сродного,
для любви пригодного,
неба золотого,
как большое слово
с буковкой бу-бу,
с молнией во лбу
да с душой – обузой,
с птичкой белопузой —
ласточка пять раз
поцелует глаз,

ясный, бестолковый,
к темноте готовый,
коли белый свет съели на обед...

Она летела. Я рыбачил на мостках, сидя на раскладном стульчике, лицом к югу. Солнце слепило глаза, ветер слипал ресницы. Поплавки терялись в золотой водяной ряби. В ушах гудело, и волна хлопала в ладоши под мостками, редко и всегда неожиданно. Но я слышал и знал: она летит. Вообще-то, их было много. Они месили вещество воздуха, света и отражения леса и неба в озере. Они летали всюду, стремительно и непредсказуемо. Казалось, они не умели или не могли летать по прямой, совершая постоянно зигзаги, резкие и острые развороты, взмывы в небо, иногда они «брили» волну, а порой бросались в сторону так, будто пугались незримых чёрных дыр, уводящих, засасывающих их в параллельное пространство. Но одна из них летела прямо на меня. Нет – в меня. Каждый день. Всякий раз, когда я оказывался с удочками на мостках. Она подлетала ко мне – и тормозила, замирала на месте, трепеща крылышками и пища-свистя. Прямо перед лицом моим – зависала. Ласточка-береговушка. И – смотрела мне в глаза секунд 10–12, а потом взмывала вверх, задирая мою голову лицом к небу. И я сидел, как дурак. Обманутый? Обнадёженный? Обиженный? Одарённый? Разбуженный и взбудораженный этой загадочной маленькой птичкой. И я чувствовал себя дурачком. Иваном-дурачком. Ванькой-дурачком. Юркой юродивым. Юр – юродивый. И в эти горько-сладкие мгновения прозренья понял я: мифологический наш Иван – абсолютно архетипичен, вездесущ, вечен и неистребим. А Наполеон (вот дикая и дурацкая мысль!), изгнанный из России в 1812–13 гг., вернулся через два века и завоевал победившую некогда его страну изобретённой им на голову французской аристократии – бюрократией. Бонапарт обюрократил Россию. Потому что любая революция тащит за собой миллионы алчных, невежественных, но власть имущих дармоедов. Наполеон Буонапарте подзаразил Россию вирусом бюрократии... Здравия желаю, Импелай!.. Помалей Алалей!.. Цна-цна!..

Наивность, доброжелательность, граничащая с равнодушием, умственная и душевная сосредоточенность, бескорыстие и грубая, природная нежность – всё это есть основа натуры Ивана, Феи, Миши, Веры, Любы и Нади, ползающих сейчас по огороду, колющих дрова и замерзающих в снегу спиной к забору. В больших городах дураков меньше. Или их просто не видно в толпе. Бюрократия и бизнес заскучали. Понавезли азиатов (говорят, из Таджикистана подъезжают ещё 20 млн гастарбайтеров). Пригороды Екб заполнены черноголовыми пареньками, которые быстро ассимилируются и ассимилируют. Правда, чиновники и дельцы подзабыли, что Восток – дело тонкое. А где тонко, там, сами знаете, что происходит. Есть у Геннадия Каневского прекрасное (само по себе) стихотворение, в котором утверждается международный статус дурака постсоветского пространства.

Рахимов

весной легко дружить со всеми.
и азиатский город весь,
как перевёрнутое время,
стекает медленно с небес,
и видишь, шторы отодвинув:
ответственный за тьму и свет,
среди двора стоит рахимов,
дурак пятидесяти лет.
ногой проделывает русла.

метлой вздымает кутерьму.
за русский письменный и устный
ему воздастся по уму
на ритуальной киноплёнке, где кровь, наследница творца,
течёт себе
от нас в сторонке,
не
от —
во —
ра —
чи —
ва —
ет —
ся.

Она летела. Планета земля. И он летел. Астероид. Она летела, а с нею летел и Челябинск.
Они летели вместе. Летели, летели, летели. Летели, пока он не прилетел.

Разведка пленом

Once upon a time один критик упрекнул меня в том, что моё мышление (как сочинителя книги поэтологического характера) иерархично: я «поставил» над всеми литераторами, пишущими стихи, М. Н., А. Р., Б. Р., Р. Л., В. Д., Е. И., А. З., Н. С. и др. Ужас! Упрёк был с двойным, а то и с тройным дном: иерархичность оценки (точнее – модальности, т. е. отношения к предмету говорения) есть субъективность и предвзятость, заговор, аксиологическая наглость, поэтологическое вероломство, социальный вызов и политический в литературоведческом аспекте демарш. Да, моё мышление иерархично, типологично, аналитично, синтетично etc. Как и у остальных 7 млрд. особей homo sapiens, населяющих Земной Шар. Автор заметки осерчал и обиделся на меня за то, что сам же сделал в своём корректирующем и карающем очерке, сравнив работы трёх поэтологов и отдав первое место трудам того, кто к поэтологии не имеет никакого отношения, и поместив на второе и третье места книги (серию) поэта – анталогиста, создавшего за 25 лет работы сводный триптих современной региональной поэзии и пару книжек, написанных мной грешным. Критика должна упрекать? Обижаться за державу словесности – и бить? – мне стало жаль этого человека, не знающего теории и практики Зеркала Текста (Ю. Левин). Критик должен писать не на бумаге, а на зеркале – поверх своего лика и сквозь него. Одним словом, я не обиделся, но – оторопел и удивился: оказалось (по мысли данного Once Upon A Time), что в «Поэзии и Литературе» я глумливо ранжировал мёртвых (поэтов), а в «Поэтах Урала» – взялся за живых, то бишь из страшноватой птицы грифа-могильника превратился в настоящего хищника: коршуна, ястреба, орла, – чтобы рвать живое мясо здравствующих коллег...

Автор, обвинивший меня в иерархизме, к сожалению, не заметил, что и первая, и вторая книги в равной степени посвящены исследованию феномена поэзии (в его необывательском понимании как стихописания) в стихах как живых, так и мёртвых. Мёртвых поэтов вообще-то не бывает. Мёртвые графоманы встречаются повсеместно.

Писать на зеркале и по зеркалу – трудно. Почти невозможно. Жаль лица своего, исчезающего под наплывающим текстом. И тогда критик начинает инвектировать: судить, ругать и поучать. Скушно.

Поэзия – дело мужское, кровавое (А. Ахматова). Поэтология – суха и опасна (как для объекта исследования, так и для субъекта-исследователя). Рано или поздно – получишь по башке за то, что кого-то не упомянул, кого-то недоцитировал, кого-то не удостоил и удостоил не так, как хотелось бы достаиваемому. Поэтолог – это тот, кто думает и пишет о текстоведе-нии, о текстотворчестве, о поэзии и о поэтах. Поэтологи, как правило, сами сочиняют стихи и стишки. Всё нормально: физики занимаются физикой, химики – химией, математики – математикой, а поэты – поэзией. Вот, видимо, почему так редуцировалась сфера литературной критики. Сегодня критика – сами литераторы, и пишут они друг о друге. Так и должно быть. Сочинитель читает написанное не им, ведёт, так сказать, разведку того, что создаётся противником (соревновательность, да?). Потом, сняв «карту творчества» имярека, восхищается ею, возмущается, наслаждается, отвергается от неё, влюбляется в неё и т. д., т. е. проводит – в любом случае – диверсионную работу: хваля – перехваливая, ругая – переругивая, оценивая – переоценивая – недооценивая Нечто etc. А затем... А потом превращается в чистильщика: уничтожает следы своего присутствия на чужой этико-эстетической территории, смотрится в зеркало – и видит текст. Не своё, милое себе, лицо, но – текст. Текст, равный и себе, и объекту текстотворчества. Такие дела...

И ещё. Может быть, самое главное. Поэтолог, поэтиевед должен *любить* то, что он исследует. Наблюдает. Познаёт. Осознаёт. Он должен (если может, умеет и смеет) плениться (в прямом, этимологическом значении) поэзией и поэтом. Он обязан попасть в плен.

1975 год. Разведгруппа из семи морпехов оказывается в Лаосе. Задач много: во-первых, обозначиться в этом беспокойном месте (если Восток дело тонкое, то Юго-Восток – тончайшее), т. е. стратегически: показать друзьям – противникам (двум-трём державам), что мы ЗДЕСЬ, и войти в состояние контакта-неконтакта-полуконтакта с предполагаемыми визави (не с лаосцами, естественно: они заняты своими делами политико-партизанского характера). Во-вторых (тактика), прогуляться вглубь (весьма неглубокой) страны, ознакомиться с окрестностями, достопримечательностями, кое-какими людьми и нелюдьми. И, в-третьих: главное. Обнаружить нечто, очень нужное всем – и нам, и англосаксам, и прочим друзьям-товарищам... И – группа пошла. Джунгли. Холмистые. Не те джунгли великой Амазонии школьно-географического характера (в те поры спутникового и кабельного телевидения не было: и картинки реальной – тоже), а полусухой лес-подлесок с огромным количеством насекомых и гадов (как в Индии, например; в Анголе, там кусты да огромные кочки то ли травяные, то ли тростниковые – жуть; а в Северной Африке – там песочек, везде, и в ботинках тоже). Идёт группа. Командир (нарушая предписанный порядок) – первый, во главе колонны по одному с интервалом ровно на разрыв мины – и летучей, и лежачей, и прыгучей. Слышатся редкие хлопки миномёта (одиночный аплодисмент), которые чреваты через 7–10 секунд ответным групповым аплодисманом. Клакеры хреновы. Оккациональный (на арапа) обстрел окрестностей военной базы. Демонстрация бдительности и ужаса тихой вечной войны. Группа идёт. Навстречу (с неба) – мина. Прямое попадание в морячка, следовавшего за командиром. Командир летит – боком – в сторону, точно на север (поближе к Родине), и, контуженный, катится с холма, по откосу вниз – прямо к товарищам военным. Низкорослым, однолицым и неловким, как инопланетяне. Пятеро останавливаются и – бегом – уходят вверх: двое, кажется убиты. И – командир. Однако последний жив. Его берут в плен. И он приходит в себя в бетонном полуподвале какого-то строения военно-промышленного образца (ох уж этот Рембо с его бамбуковыми клетками и кагебистами, подбирающимися с электродами к его бесценным гениталиям...). Контузия серьезная. Тотальная. Кровь идёт из всех телесных отверстий. Но настроение – бодрое. Потому что – страшно. Не за медальки, которых лишат, если выберешься, а за ребят, оковавшихся на вершинке холма. Три недели его никто не трогает. Он лежит на бетонке, предварительно вымазав своей кровью комбинезон. Ходит он, что называется под себя, в штаны. Играет немощного, обезумевшего от контузии идиота. Стонет. Его рвёт кровью – и он слабым голосом издаёт англо-матерные звуки с добавлением волшебного слова «God», что-то вроде «Oh, my God...». Ясно: узнают в нём русского – расстреляют. Морского котика – отдадут за выкуп. Всё просто. Кормят: миска риса и миска воды. Половину съедает, половину разбрасывает окрест себя. Воду выпивает всю. Но миску отбрасывает от себя на метр – не пил я её, вашу вонючую воду.

Иногда в камеру заползает солнечный зайчик, бледный и размытый, и пишет на противоположной от окна стене кружок с точкой. Это ребята. Его ребята. Он молится. Просит Бога, чтобы не пускал их сюда. Не прорваться: гарнизон – человек 300. Значит, то, что ищем, – здесь. Это хорошо... Через три недели к нему в камеру приходят трое: старший офицер с белым носовым платком в правой руке (в правой – это хорошо), офицер помладше с бамбуковой палочкой в правой же руке (о, это тоже очень хорошо), но бамбук какой-то такой не Рэмбовский, а скорее удилищный: верхушка удочки, тонкая бамбуковая вица. Третий – унтерофицер с АК-47, который смотрится в его ручках (все – низкорослые, как семиклассники) как трёхлинейка, как винтовка Мосина образца 1908 г. Старший заговорил по-своему. Средний – по-русски. Младший аккуратно пнул в лицо: пленный от удара не заслонился, но успел разглядеть – сапог наш, советский, на подошве рядом с каблуком цифра «39». Карлик милый. Милый карлик... Карлик у Кеши украл прахорю... Средний перешёл на английский. Пленный оживил свои глаза, сделал взгляд осмысленным, хотя и ни хрена не понял: юго-восточный англо-суржик почему-то напоминал татарский – так, если бы говорил ребёнок, сюсюкающий и не признающий шипя-

щих и сонорных звуков. Старший брезгливо поглядывал на загаженного, в кровавой коросте «котика». Средний наслаждался своим чудесным произношением. Младший переложил автомат в правую руку (о, Боже, как это хорошо!), а потом вообще выпустил его из руки и держал эту родную для пленного вольну за ремень (длинный! – о, хорошо), покачивая автомат, как люльку для 30 (+1) шмелей (хорошо, да? – шмелиный улей). Пленный ругнулся, застонал, попытался повернуться, лечь на спину – средний помог: пнул в лицо, пнул в плечо, пнул в живот, пнул в ... «Вот и всё. Хана вам, пацаны», – подумал пленный, овладевая автоматом (это легко – сначала ногой – садясь, потом рукой – уже стоя, потом три коротких по коленным чашечкам (отключка моментальная и надолго – болевой шок: это вам не кино и не телевизор). И – ходу. Ушёл просто: не спеша, мимо вышки – и влево. Умел ходить рядом с неслепым так и с такой скоростью, что становился невидимым. Всё. Буш. Лес. Подлесок. Долбаная джунгля...

Группа в сборе. Минус один. Его звали Петя. Через пару месяцев его матери вернут Петины (папины) часы «Победа» и вручат Орден Красной Звезды (в то время рядовой состав орденами почти не награждали, только – посмертно; а так всё – медальки, белые и рыжие)... Через неделю группа ушла в Камбоджу, где месяц ребята кушали лягушек, ящериц и гадов. Ещё через месяц лаосскую базу смела диверсионная группа, вслед за которой прошла группа чистильщиков. Дело было сделано. Нечто было обнаружено и взято. Остальное – сметено к чёртовой матери... Схема такая: разведка – диверсионная работа – зачистка.

Очень похоже на писательскую работу: замысел – осуществление замысла – правка. Подготовка к написанию (нулевой текст в виде плана) – черновик – чистовик... Сначала разведка неизведанного (познание с параллельным влюбливанием в предмет текстотворчества, или пленение автора этим предметом: мука мученическая). Потом полное разрушение пленившего тебя предмета с последующим воскрешением его в вербальном, текстовом виде. И, наконец, зачистка, работа с черновиком, доведение его до совершенства, почти до пустоты (с точки зрения обывателя)...

Сегодня поймал первого леща с тёмно-зелёной башкой и бронзовым (с золотистым отливом) телом. Это – подарок Каменского пруда мне на мой день рождения. Сидел на мостках с удочками и думал: графоман и талант отличаются друг от друга тем, что они по-разному знают время: графоман живёт нынешним, талант – всегдашним. Графоман (и игрок, и имитатор, и сервилист, и идеологизированный стихоговоритель) живёт и пишет ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, талант – ВСЕГДА И ВЕЗДЕ. Графоман – всегда к месту. Талант – вечно не ко времени. Но навсегда. Сочинители, принадлежащие к моему поколению, разделились на две группы: одни приемлют только власть, власть государственную и любую (в России значит – священную, кто бы ни властвовал), другие приемлют и хаос, и космос (хаокосмос), упорядочивая первый и всклокочивая второй. И те и другие, а им сейчас за 50, за 70, – в своё общее время получали и получили, как оказалось, вечную прививку несвободы. И вот странная функциональная особенность и необычные свойства и последствия ТАКОЙ прививки несвободы: одних она, эта прививка, адаптировала к существованию в любой политико-экономической формации, – других же она забросила в СВОБОДУ. В свободу, которая всегда есть, даже если она наличествует только в голове или в ящике стола.

Мой друг поздравил меня СМСом из Лондона (интернет я не люблю). Я сидел у окна и думал, что графоманы без разведки и боя, без жертв, без плена и любви создают чистовик – и рассылают его всюду, где есть электронные СМИ (индивидуальные, обобществленные и вообще «социальные») или машина Гуттенберга. У графомана нет выбора: он обязан публиковаться. Таланту (истинному) – всё равно. Он знает время. В том числе и то, когда его опусы будут опубликованы (пусть через 20–30–50–100 лет). Графоман работает (или пытается работать) бартерным методом (ты мне публикацию / книгу – я тебе премию; или – наоборот). Талант не спешит. (Сергей Гандлевский, крупнейший поэт России, – *не спешит*; Ольга Седакова, поэт

драгоценный, *не спешит* и т. д.). У таланта есть выбор: актуальность или вечность. У графомана – только актуальность и прагматика. Такие дела.

Наконец я взялся отвечать на поздравления. Очередь дошла до моего лондонского Олега, который сегодня превратился в самобытного, глубокого и пронзительного (от горечи времени и души) поэта. Звоню (на часах около 11 утра). Ответил не сразу: в Лондоне 6 утра. Олег перебирается в ванную, и мы говорим. Новости, то-сё. Я сижу на веранде – под окном рябина, осинка, вербочка и яблоня. Говорю Олегу: вот – у меня тут рябина под окном. А Олег смеётся: и у него рябина... Аж слёзы навернулись.

Снова о гибели? Был уже мальчик,
нам не чета.
Выбросьте книги, закройте журнальчик.
И – хоть до ста.
Лучшего не воскрешается призрак.
Нет ничего.
Что вы трясёте мотнёй романтизма?
Дети, во-во.
На окровавленных склонах Кавказа
наш романтизм.
Холод, вагон человечьего мяса,
вши, ревматизм.
Не начинайте. Окончится плохо.
Стиль есть война.
Стиль есть, простите за пафос, эпоха.
Нам это на?..
...Сгинем уродливо, но элегично.
И не пророчь.
Чисто, чувствительно, гордо, лирично.
В звёздную ночь.

Стихи Олега Дозморова возмужали – вслед за его душой. Душа поэта растёт, когда больно. Теперь Олег это знает. И я за него спокоен. (Да нет, волнуюсь же: думаю о нём, мысленно с ним разговариваю, спорю, соглашаюсь. Соглашаюсь – чаще).

А ещё у меня расцвела сирень. Белая-белая-белая. Второй раз цветёт. Сирень невероятно прекрасна. И она это понимает. Сирень знает, что она – красива. Она стоит так, как возносится белый дух зимы. Она почти шарообразна, густа и необъятна, как русский язык. Я могу смотреть на неё часами. А когда я дома – я слушаю её. Я слышу её белое цветение. Я слышу её красоту. Закрываю лицо руками – и чувствую, что вот-вот смогу её произнести. Произнести сирень. Землю. Небо. Красоту. И мне – страшно. Страшно и как-то горько весело от того, что можно слышать сирень и даже говорить её... Здесь, у нас на Земле, всё – язык. Наш дар и наша мука. Наше счастье и наша беда. Наш свет и наши потёмки. Наша душа и наш Бог.

Родна речь, отойди от меня,
поди прочь, не приближайся ко мне,
я боюсь сейчас твоего огня,
между тем сгораю в твоём огне.
Так садится покойник, почти встаёт
в крематорской печке, зовёт рукой,
открывает рот и почти поёт.

Что со мной, что со мной, что со мной?

Стихи Олега Дозморова

Я знаю этого коршуна

Объём и качество моего одиночества в Каменке определяется небом. Если в городах неба нет совсем, то в деревне оно прижимается к земле. Зимой его больше: зимнее звёздное студёное небо – всё – на земле: в сугробах, в садах, на серебряных заборах, на овчинных крышах, на хрустальных и слюдяных окнах, на тяжелеющих ресницах, на зябнущих плечах. Небо всюду – светом, сверканьем, белизной, высотой и ознобом... Летом – другое дело: небо то отрывается от земли, застревая в деревьях и с трудом отливая от воды, а то и вовсе утекает вверх – туда, где его главное место, определённое гравитацией, кинетикой, оптикой и нашим мифологическим сознанием. Власть физики и метафизики летом в деревне очевидна. Кто-то или что-то затевает пасмурную погоду – и небо прижато к траве, а вот когда ведро, небо восходит в свои пределы и сгущается вокруг невидимых дневных звёзд. Если неба много – моё одиночество становится ясным и могучим. Если неба мало – оно возвращается в свои человеческие пределы, тянет душу Бог весть куда, жмёт сердце и гонит слезу – сухую, нутряную, русскую, неизбывную, золотую.

Летом в Каменке я весь во власти сочинительства и рыбалки (а это для меня одно и то же: на мостках с удочками видишь сразу два неба, так и сидишь, зависаешь между ними, прислушиваясь к себе и к мирозданию; так приходят слова, слова вместе с музыкой и ритмом, и с ознобом плечевым). На озеро я иду в темноте, ещё ночью. Пробираюсь кустами и зарослями репейника и крапивы, вознося удочки к небу – не порвать бы лески, не потерять бы поплавки. Добираешься до мостков – мокрый по пояс и весь заляпанный травинками, лепестками, веточками, семенами дикой травы. В темноте, с фонариком в зубах налаживаешь, наживляешь и забрасываешь удочки. Потом куришь, разгоняя дым ладонью: он стоит на месте, как в помещении, нет – просто и прямо в помещении ночи и мирозданья. Тёмный воздух постепенно становится серым. Вот – серое вещество света. Приближающего света. Сначала свет тёмный, потом серый, а затем уже светлый, чтобы стать, наконец, окончательно белым.

С рассветом густеет туман. Плотный. Стелющийся. Клубящийся. Сплошной. Туман лежит (вернее, стоит) на воде – и пошевеливается. В нём образуются длинные узкие ходы, с поворотами, зигзагами и кругами. Кто-то или что-то ходит в нём – сквозь него. По воде. Кто? Что? – Ясно, Кто. В сером веществе света, предсвета, досвета, архесвета можно углядеть фигуру Того. Фигуру Его. Он движется не спеша, но быстро. Так быстро, что кажется, что Он везде. Всюду. Он и есть этот туман. И пустоты в нём – тоже Он. И его коридорами ходит свет: он ещё темнее ярко-влажно-белого тумана. Но – легче его. Воздушнее. Ты чувствуешь власть Его – и над туманом, и светом, и целым Светом: в сумерках утренних земля и небо – одно, неразделимое целое. Вот – счастье; счастье видеть это. Это... Потом Он исчезает – и всегда ровно и точно на середине (в географическом центре) озера. И тогда туман начинает отделять землю от неба. Он собирается в огромные белые шары, которые, отрываясь от воды, становятся облаками. Рождение облака, вознесение его – есть чудо. Кто этого не видел – тот не жил.

Туман – власть. Власть его, что называется, испарилась. Воспарила – и пропала в бесконечности изначального неба. Нет его – и не было. А вот Он, Тот, – был. Такие дела... Становится совсем светло. И над озером появляется коршун. Один и тот же. Десять лет мы смотрим друг на друга, и он мне нравится. Да и я ему не мешаю. Он делает облёт всего овала водного зеркала – и начинает охоту. Чаще – за рыбой, которую выхватывает из воды, как серебряную ложку. Через час-полтора в небе появляется ворона. Она орёт, матерится, истерит, рыдает и нападает на коршуна, который нехотя уворачивается от картавой дуры, но никогда не отвечает ей: он мог бы убить её одним ударом клюва или когтистой лапы. Но он её не убивает. Знает, что это провокация, что сейчас налетит этих тварей штук десять, и тогда придётся туго. Он вежливо и серьёзно выслушивает вороньи мать-перемать и не менее вежливо уходит выше,

выше, очень высоко, где власть этой дуры превращается в ничто. Власть – дура. Власть – ничто. Когда у тебя есть запас высоты. Высоты беспредельной и запредельной.

Поэзия – высота. И высота – поэзия. Поэзия и вообще искусство. Мой старый приятель как-то пошутил: ты, мол, заметил, что после опустошительных и сокрушительных войн, после эпидемий, мора и глада, – в России (да и в любой другой стране) всегда уцелевают, остаются в живых две социальные группы населения – чиновники и писатели. Хороша оппозиция: бюрократия и сочинители. Косноязычие и словесность. Концеляролект и литературный язык, поэтолект. Чиновники не любят писателей (как и обыватель): они НЕ понимают, Зачем и Почему эти господа пишут, а не наживаются и не наслаждаются жизнью. Здесь и Сейчас.

Население России варваризируется. Визуализация информации. Гибель семантики. Текст превращается в текстойд. Речь убивает мышление – тараторят, и безответственно, все: политики, юмористы, чиновники, писательницы и дикие сочинители, работающие на рынок, на обывателя, на пошлость. От любой информации остаётся только шелуха: мнимая фактология и гламурные эмоции. Пошлость разрастается, поляризуется (от быдла до Кс. Собчак), атомизируется, крепчает в каждом человеке, в каждой семье, в каждой корпорации. Теперь все институции – суть корпорации. А корпоративный интерес – это деньги. Просто деньги. Бумажки. Власть. Недомышление масс порождает духовные пустоты, в которых усиливается гравитация зверя: недомышленники (всюду: в жизни, в судьбе и даже в поэзии, в искусстве), варвары НЕ думают – они фиксируют (визуально) всё на свете, просматривают. Российское человечество разделилось на две группы дикарей: для одних думать – это горе (от ума), наслаждение и основа / суть существования; для других – НЕ думать есть их конститутивное качество; ловчить, креативить, хитрить, денежки добывать, жульничать etc. Первые сидят по кухням, лит-объединениям, в творческих союзах (которые, правда, приказывают долго жить), в универсах, на кафедрах, в редакциях и в дешёвых кафе – думу думают: как бы так уцепиться за вечность и всё такое. Вторые считают себя хозяевами жизни. Любой жизни. Первые не замечают вторых. Вторые презирают и ненавидят первых. (Так и не удалось мне, бывшему «главному писателю» Екб, объяснить чиновникам, что есть литература, кто суть писатели, зачем нужны книги: все как один и в один голос вопрошали – риторически: плохо вам, сочинителям? – Все увещевали: затолкайте свою литературу в шоу-бизнес – вот и деньги появятся...). И все, все до одного, тянутся к власти. И протестующие (хоть камнем – но дотянуться, пощупать её, ощутить, приобщиться), и возлюбившие власть (любую: дэнги давай, дэнги!). А художник парит себе промеж небес – верхним и отражённым водою нижним – и лениво уворачивается от ворон, и легко, играючи преодолевает гравитацию зверя. И уходит в свою высоту.

Художник знает иную Власть. Власть неизведанного и познаваемо-непознаваемого.

АРИОСТ

В Европе холодно. В Италии темно.
Власть отвратительна, как руки брадобрея.
О, если б распахнуть, да как нельзя скорее,
На Адриатику широкое окно.
Над розой мускусной жужжание пчелы,
В степи полуденной – кузнечик мускулистый,
Крылатой лошади подковы тяжелы,
Часы песочные желты и золотисты.
На языке цикад пленительная смесь
Из грусти пушкинской и средиземной спеси,
Как плющ назойливый, цепляющийся весь,

Он мужественно врет, с Орландом куролеся.
Часы песочные желты и золотисты,
В степи полуденной кузнечик мускулистый,
И прямо на луну взлетает враль плечистый.
Любезный Ариост, посольская лиса,
Цветущий папоротник, парусник, столетник,
Ты слушал на луне овсянок голоса,
А на дворе у рыб ученый был советник.
О город ящериц, в котором нет души, —
От ведьмы и судьбы таких сынов рожала
Феррара черствая и на цепи держала —
И солнце рыжего ума вошло в глуши.
Мы удивляемся лавчонке мясника,
Под сеткой синих мух уснувшему дитяти,
Ягненку на горе, монаху на осляти,
Солдатам герцога, юродивым слегка
От винопития, чумы и чеснока,
И свежей, как заря, удивлены утрате...

4–6 мая 1933 – июнь 1935

Стихотворение О. Мандельштама

Я сижу над водой и над небом, над плёночкой его, обтянувшей озеро, каждую его водяную неровность и заводь. Нижнее небо толкает меня в лицо, поднимает его к небу верхнему, где коршун нарезает свои круги своего воздуха. Я знаю этого коршуна. И он знает меня.

Не зарывай

Несколько лет я работал за границей: преподавал практический русский язык в одном из университетов Индии. Студенты были разные: бакалавры, магистры, аспиранты и аутсайдеры – офицеры, инженеры, имевшие дело с российской техникой и советским оружием, а также просто люди, влюблённые в русскую литературу и культуру. Кроме обязательных по программе занятий, я проводил что-то вроде семинаров, в семейной обстановке, расслабившись, мы читали вслух (по просьбе студентов) Толстого, Чехова, Пушкина (Достоевского я не любил и не люблю), Бунина, Куприна, Лермонтова, Цветаеву, Пастернака, Юрия Казакова и Мандельштама. Ещё мы переводили на хинди и малаялам (дравидийская языковая семья, язык южного штата Керала) русские стихи – и прозой, и в рифму. Переводили так: сначала на английский (язык-посредник), а потом уже на коренной язык. Мне кажется, я нравился студентам (белокожий, бородатый, большой) и не нравился администрации («коммунист»), которая мне улыбалась и обласкивала меня, тем не менее: я приносил университету немалый доход. Моя завкафедрой и её муж учились когда-то в Москве, в МГУ и в Университете дружбы народов. Общались мы на русском языке, но я иногда позволял себе переходить на малаялам (варварский, разговорный, приблизительный), и им это очень нравилось.

Моя начальница любила показывать меня местной, столичной и приезжей, из других стран, интеллигенции: вот, мол, русский мужик, визитинг-профессор, спортсмен, классный теннисист (second – seeded в их универе + ещё 104 колледжа). Правда, перед такими party и session она постоянно и не по разу просила меня: «Юра, не говори им, никому, что ты пишешь стихи: здесь это считается несерьёзным занятием, верхом легкомысленности и латентным бунтарством». И я скрывал своё основное занятие, прикидываясь рафинированным интеллектуалом, спортсменом и мужем красивой жены, к тому же полиглотки: английский, французский, немецкий, итальянский – всего понемножку. Однако внутренне я негодовал, психовал, отчаивался: хотелось говорить – с кем угодно – о стихах, о литературе, о словесности, о культуре поэзии etc.

В Нью-Дели перед отъездом на юг страны меня вызвали к послу. Я пришёл. С ним в приёмной сидел за отдельным столом дядька в чёрном костюме (таких на флоте звали «молчимолчи»), он изучал, видимо, моё досье. Посол беседовал со мной. Всё было ровненько и прилично до вопроса: Ваше хобби? Ну, говорю, рыбалка, спорт... да, ещё я пишу стихи и даже изредка их публикую. «Где?» – неожиданно спросил в чёрном. «В СССР», – ответил я. «Всё. Вопросов нет», – резюмировал чёрный. И – меня не завербовали, как некоторых иных преподавателей, отъезжающих в индийские университетские центры. Стихи меня спасли. От разведработы. Благодарю тебя, Господи, за то, что явил меня графоманом, стихолюбом и сочинителем!

И вот первый отпуск. Мой друг, родившийся в Абхазии (мать – украинка, отец – эстонец), был абсолютно русским человеком. Он был проездом в Свердловске (это середина 80-х), и мы отправились в ресторан. (Когда я ехал из Шереметьево на такси с делийского самолёта в Москву, я заметил странную вывеску над каким-то заведением «Пектопах». Потом попалась ещё одна. Ещё. На четвёртой я сообразил, что читаю русское слово «ресторан» в ложноанглийской литерации – РЕСКТОРАН. Такие дела.) В ресторане мы крепко посидели. Метрдотель был армянином, и мой товарищ быстро подружился с ним, разговаривая с ним только по-армянски. К полуночи, когда в Централке («Центральный ресторан» или ресторан «Центральный»?) все уже изрядно выпили и расшумелись, Peter (так кличет его отец-эстонец) что-то сказал метрдотелю, и тот с микрофоном обратился к публике: мол, среди нас есть поэт, и он сейчас прочтёт своё стихотворение; тихо, мол, товарищи, давайте послушаем (я читал Peter's стихи, привезённые из Индии, и одно ему шибко понравилось). Официанты соорудили из двух

столиков высокий постамент, меня буквально под руки водрузили на него, и я прочёл в мёртвой моментально протрезвевшей тишине:

В этом доме был вчера покойник.
Окна – настезь, комнаты пусты.
Сядет воробей на подоконник.
Дедушка посмотрит с высоты.
Бабушка развесила бельишко.
Парится картошка в чугунке.
Спит в саду зареванный мальчишка
с яблоком надкушенным в руке.
Видит он: на кладбище копают,
старики заглядывают в сад.
Слишком высоко они летают —
мальчишки туда не долетят.

Тишина длилась ещё с минуту. А потом... В общем, окончания праздника я не помню.

В России в те поры (и до двухтысячных) меня всегда и всюду представляли так: Ю. В. Казарин, доцент (потом профессор), член СП СССР (потом СПР), поэт. Недоумения или разочарования в глазах новознакомцев я не замечал вплоть до двухтысячных годов новой эры посткнижной и тотально денежной русской цивилизации...

Словесность, филология, вообще гуманитарная деятельность сегодня в России не поощряются. Более того – вся гуманитарная сфера образования, науки и проч. редуцируется (мягко сказано), – нет: вы-тап-ты-ва-ет-ся. Кем? Чиновничеством.

Университеты отныне лишены права на самоуправление и свободные выборы руководящего состава учебного заведения (выборы вообще отменены: ректор, деканы и проч. назначаются). Даже добрейший В. И. Ленин не решился на такой акт. Университеты сегодня ранжированы на основе экономического принципа, что означает следующее: классическим университетам – конец (и фундаментальной науке тоже), а вот коммерческим вузам (и специальностям, например: «Сервис и туризм», – и этой ерунде нужно учиться 4–6 лет!) – все преференции. В дичающей стране уничтожить гуманитарную сферу науки – значит довести народонаселение (чиновничье словцо) до полной, крайней и окончательной этико-эстетической дикости.

Переход от специалитета к бакалавриату и магистратуре не должен проводиться Минобром! Минобр и ВАК следует закрыть.

Нужны новые формы управления (уж коли мы следуем Западу во всё): UGC, университетская главная комиссия (комитет), он и будет регулировать школьное и вузовское образование. Попытка захвата РАН чиновниками продолжается. Думаю, бюрократ победит. (Почему-то наши госслужащие очень богаты, они имеют двойное [тройное и т. д.] гражданство, а их дети обучаются в оксфордах; все это знают; все, кроме Генпрокуратуры, которая всё узнаёт последней). Тотальная коррупция в России привела чиновников к необходимости осуществления «петляющего креатива», т. е. запутывания, замутнения сознания нации чудовищно невежественным отношением ко всему интеллектуальному и духовному, т. н. реформами и нововведениями вроде ЕГЭ, доживания (пенсионеров «старого образца»), оптимизации, укрупнения, секвестирования и т. п. Деятельность бюрократии заключается в уничтожении непонятной и враждебной ей культуры и в перелопачивании ошметков реальной деятельности институций, существующих 300–400 лет...

Я вернулся из Индии в 1987 г. В стране припахивало разрухой. Экономической. Сегодня в стране назревает разруха интеллектуальная и духовная. Природная нравственность фунда-

ментальной – вне прагматики и прикладываемости («прикладной») – науки поправа. Образование сведено к заучиванию речевых шаблонов и порядка нажатия кнопок (тестирование – это следствие не только «моды» и ориентации на Запад, но и болезненной зависимости всех от компьютерных программ, игр и технологий вообще). Искусство утрамбовано в шоу-бизнес. Культура рассечена на субкультурки. Человек превратился в потребительскую машинку...

А тогда, в 80-х, я вернулся из отпуска в свой индийский университет и отправился к проректору просить машину для того, чтобы съездить в полицию (40 км от Campusá). Говорю ему, мол, я need a car to go to Police. Произношение моё было плоховатое, с редукцией и чередованием безударных гласных, поэтому произнёс я [паліс], вместо [полис]. Дравидийцы почти не различают звуки [л] и [р], поэтому проректор услышал не Police, а Paris. Но машину дал. До Бомбея (ныне Мумбаи), а там на пароме до Марселя, от Марселя до вожделенного Парижа опять на университетской машине и т. д... Мы долго смеялись с ним над нашим межъязыковым казусом. Но! Машину до Парижа он давал! А у нас и на издание монографии не давали, не дают и теперь уже точно никогда не дадут.

Я не узнаю свою страну. Россию. Кто я? Чужак? Или чужие те, кто делает из неё чиновничьи штаты страны? ЧШС. Не знаю.

Тоскую. И пою. Пою романсы Дениса Новикова.

РОМАНС

Презрительным рассмейся смехом
и надо мной, и надо мной,
как над каким-нибудь чучмеком;
езжай домой, скажи, домой.
Во мне священного таланта
не признавай, не признавай,
не убивай меня – и ладно;
не зарывай, не зарывай.

Крупнее жизни

Всё чаще мне кажется, нет – я чувствую, что я умер. Всё, что со мной происходит, – это не жизнь, это нечто иное: то ли большее, то ли меньшее. Не знаю. Жизнь проживает не столько меня, сколько себя саму. Она теплеет и холодает уже как бы и не здесь, а там, где свет иной, ещё (или уже?) неотделимый от тьмы. Тот свет? Не думаю. Он слишком крупный, чтобы быть мифологически обоснованной реальностью. Это иная реальность – безумная, бескнижная и хоровая. Даже государство норовит потоптать («оптимизировать») то пространство, куда слетаются книги. Сходятся и сползаются – чтобы их прочитали не на раз и поняли. Чтобы о них написали другие книги – книги книг, которые являются потомками первых великих Книг (Веды, Тора, Библия, Четвероевангелие, Коран, – ну и, скажем, «Война и мир [мир]»). В каждой книге мерцает и посверкивает, бликует книга книг и ещё – Архекнига. Вселенная – Архекнига. Галактика – Книга Книг. Планетарная система – Книга. Мир – это книга книг, и всё в нём – книга. И дерево, листаемое ветром, и вода, перелистываемая ветром, камнем и горой, и воздух, читаемый светом и тьмой, и человек, прочитываемый природой, и человек, читающийся человеком, и зверь, прочитанный небом и землёй, и земля, переплетённая небом, и небо, написанное Землей, Им Самим и Человеком, и пустота, истекающая всеобщим алфавитом, и Буква, явленная прозрением, отчаяньем и любовью.

Всё это, познаваемо-непознаваемое, читаное-непрочитанное, – ныне проходит, проживает и умирает мимо человека. Человека – играющего и алчущего. Человека, погрязшего в нищете и в излишестве. Бедность и Роскошь – сёстры. Сёстры-близнецы, раздирающие книгу жизни на две половины – по обложкам: передняя достаётся роскоши, задняя – бедности. Человек назвал себя гордо человечеством, которое незаметно для себя переименовал в цивилизацию. Цивилизацию, производящую уют и оружие. Homo. Humanis. Гуманизм.

Гуманный. Гуманитарный. Т. е. – человеческий и человечный. Гуманитарная сфера человечества – мизерна. Россия, обнюхавшись нефти и природного газа, решила присоединиться к Европе и остальному миру («гуманному», см. «Декларацию прав человека», то бишь дельца: США ещё в 1950-х годах [да и ныне] не считали [и не – ют] цветных за людей; сегрегация, Чайна-Таун, Гарлем, Бруклин etc.), – присоединиться, нанюхавшись халявы, к цивилизованному миру, вытаптывая гуманитарную сферу (ядерную! центральную! сердцевинную! сердечную!) культуры, науки, образования, медицины и проч. Филология – основа всех наук, т. к. любая наука – это Слово, а филология – наука о Слове. О том Слове, которое было в начале, будет в конце и после конца. Которое было, есть и будет всегда.

Одичание, нелюбопытство, презрение к познанию (и к познаваемому), лень разума и души, когнитивное безумие и бездумье – вот черты, качества и свойства расчеловечивания. Рационально и прагматически (потребительски) обоснованное и добровольное слабоумие миллионов пользователей всего на свете уже не пугает, т. к. ты понимаешь: это уже иной свет, другая жизнь, проживающая не человека, его разум, сердце и душу, а – саму себя. Жизнь проживает жизнь. Всю. Без остатка. Что остаётся от неё? – Уют и оружие, обращающиеся во прах. После такой жизни книг не остаётся. Памяти не остаётся. Традиции. А значит – культуры. Мы живём в посткультурном обществе.

Есть такая хорошая здоровая болезнь Горе-от-ума. Нынешнее слабоумие подслащивает всё: и горькую нефть, и вонючий газ (труба одна, а народу много: один из трубных заводов Урала понавтыкал огромные щиты вдоль трассы Москва-Восток: Всем Труба; хар-роший юмор у трубопрокатчиков!). Компьютер, интернет и ТВ делают из глазающего в экран-монитор – слепого: картинки движутся, объёмизируются (3D), тексты просматриваются, но в книгу не складываются. И всё это визуальное роскошество – цветное. Думаю, что нынче среди молодых и здоровых дальтоников нет.

Несколько лет назад со мной случилось несчастье. Беда: смерти близких, предательство и проч. Я впал в трёхлетнее отчаянье. И я перестал видеть и воображать мир – цветным. Колористика во мне умерла. Два года я не видел цвета. Не внимал их и им.

Я видел мир чёрно-белым. Закрывал глаза, пытаюсь представить озеро (голубое), небо (синее), траву и лес (зелёные), цветы (красные, синие, фиолетовые, жёлтые, золотые), – не получалось. Отчаянье моё крепло. Разрасталось. Я понимал, что уже упираюсь всем телом в непрочную оболочку безумия: это такой прозрачный шар с прозрачным белком по краю и с оранжево-алым ядром... Меня спасли Мандельштам, Рильке, Фрост, Седакова, Данте и Целан. Пробовал в те поры читать Поплавского – ржал. Ржал и рыдал над автоматическими стихами, пропахшими дурью (кокаин? морфин?). Осип Эмильевич плакал со мной.

Нереиды мои, нереиды!
Вам рыданья – еда и питьё, —
Дочерям средиземной обиды
Состраданье обидно моё.

март 1937

Поэзия вернула мне колористические возможности моего зрения. Я радугой прозрел.

25 лет я прожил в Екатеринбурге на улице имени международного Дня Женщины, Дня Весны, Дня Узаконенного Гендерного Пьянства. Напротив моего дома, как раз через эту славную улицу с трамваями и другим нерельсовым транспортом, стояла девятиэтажка (брежневка) о двух подъездах с тыльной стороны здания, серого, в потёках, унылого и без лица (у дома должно быть лицо!). Общежитие. Общага. Постоялый двор работниц медицины низшего и среднего звена (сегодня там живут выходцы из Закавказья и Средней Азии). Шли девяностые годы, серые, мрачные, пустые, с ваучерами и вездесущим Ельциным, по доброте душевной раздававшим суверенитеты, ваучеры, страну. Так и помню начало девяностых – серое. Всё серое. Работал я в университете, где – так уж вышло, мне пять дней в неделю поставили вторую пару (начало занятий в 10.40). Так что вставал я с дивана не в 6.30., а в 8.00. Пил кофе и курил у окна в своей набитой книгами комнатке, обозревая с седьмого этажа улицу женщин, весны и гендерного пьянства. И вот однажды, ровно в 9.00, как-то обратил внимание на мужичка, который именно в это время выходил на балкончик блочной системы комнат, стелил на балконной палубе (седьмой этаж, то бишь выходило аккуратно ви-за-ви) газетку, снимал штаны и становился над неизвестным печатным СМИ на корточках – и справлял быстро, но не суетливо – большую биологическую нужду. Затем он поднимался с корточек, натягивал штаны, сворачивал – осторожно – газету и бросал её вниз, в газончик, в садочек, в палисадничек, от которых до главной женского дня дороги было метров 40. Думаю, что никто, кроме меня, этого интимного акта не заметил и не видел. На третье-четвёртое утро я вооружил глаза биноклем и рассмотрел этого дядьку, так негативно относившегося к современному ему месту, времени и миру в целом. Лет сорока. Мелкий мужичонка. Тщедушный. Весь в портачках. Майка драгая (октябрь месяц на дворе!), треники рваные, морда алкогольно зависимая, глаза глубоко занырнули в череп, давно не стриженный... Почему он это делает так и на балконе? Закрыт в комнате? Нет возможности добраться до туалета, до умывальника? Ломка на сухую? Беглый? В розыске? Чья-то любовь ТАК его убергает от вина, иглы, полиции, дружков, поделльников, кредиторов? Вот это – любовь! Задощипательная (температуры за дверью балконной нулевые, с минусом и первым жёстким снежком). Бедняга... Как тут – помочь? Безработица. Самому жрать нечего (дружок мой Саша, ныне покойный, Царство ему Небесное и Вечная Память, время от времени таскает в мой дом колбасу, сыр и консервы – сын у меня подрастает). И расплакался я. Как баба. Как пацан. Интеллигент хренов. (Потом я таких дядек, тётек, девок

и парней видел десятками тысяч в пригородах нашего мегаполиса, в промзонах, в посёлках, в сёлах, в деревнях – ваучеры как-то не помогли, что ли?).

В те постреволюционно-капиталистические холодные зимы люди («алкаши» и бездомные) гибли сотнями, а может быть, и тысячами: подъезды все заперты на железные двери, странно-приимных домов нет (и до сих пор – нет), больнички перенабиты (с коридорами и лестничными маршами) стариками, онкологическими, наркоманами и просто по-честному больными. Вот когда это всё началось. Народ наш во второй раз (после Ленина – Сталина) лишили чести и достоинства. Вот он ныне и отрывается – на иномарках (остановки с детьми и женщинами сносит), на яхтах, на пляжах. Расчеловечиться легко. Очеловечиться – почти невозможно.

Больно и страшно смотреть на людей, разбирающих помойки в поисках еды. Невыносимо больно думать о том, что осталось от школы (всё: читать-писать умеют единицы), невозможно смотреть на разрушаемые вузы, на классический университет, распиленный на институты, страшно смотреть на разрушение и обветшание фундаментальной науки (не-прикладной и бесполезной, нецелесообразной с точки зрения власти).

Я умер? Да. Я – умирал. Но... Я выжил? Я живу. В своём книжном мире, да? Такой вот придурок, не пожелавший (и при-родно к этому неприспособленный) заниматься чёрным риелторством, скупкой ваучеров, разорением рабочих посёлков и промышленных городов-городков; побрезговавший стать членом партий и чиновником. Да, я жив. Нас, таких, как я, осталось немного. Скоро мы действительно умрём. Вымрем («период доживания» пенсионеров и интеллигентов – короток). И вот тогда...

А пока мы живы... Пока мы живы – жив мир. Мир подлинно человеческий и божественный. Господи! Благодарю Тебя за Осипа Мандельштама. Он, вслед за Тобой, знал всё.

Заблудился я в небе – что делать?
Тот, кому оно близко, – ответь! —
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть.
Не разнять меня с жизнью: ей снится
Убивать и сейчас же ласкать,
Чтобы в уши, в глаза и в глазницы
Флорентийская била тоска.
Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски,
Лучше сердце мое разорвите
Вы на синего звона куски...
И когда я умру, отслуживши,
Всех живущих прижизненный друг,
Чтоб раздался и шире и выше
Отклик неба во всю мою грудь!

19 марта 1937

До пятой музыки

В детстве я был взрослым. Не то, чтобы я чурался детей, – просто говорить с ними было не о чем. Впрочем, вру: с Гришей, деревенским парнишкой из большой татарской семьи, мы рыбачили всегда вместе и, естественно, говорили только о рыбалке, о снастях, о рыбе и о водоёмах. Обычно я забегал к Якубовым и спрашивал у тёти Зои: – Гриша дома? – Зоя оторопела, отрываясь от нескончаемых дел, и, помолчав, подумав, отвечала: – Да дня три его уже не видела... И ещё столько бы, – добавляла она, улыбаясь загадочной улыбкой кочевницы. Говорил я мало: во-первых, я был совершеннейший заика, немтырь; а во-вторых, боялся, что попытки моего говорения вызовут смех и неминуемые дразнилки. И я молчал. Я был взрослым (уже лет с трёх-четырёх), и я молчал. Взрослое детство моё распалось на две части, параллельные, альтернативные и несовместимые (и никакой Лобачевский здесь не поможет) – на детство городское и деревенское. Полгода я жил в городе, где молчал, особенно в школе: все задания-ответы были для меня письменными; и полгода (каникулы – все болезни и выходные дни – все) я проводил в деревне у деда с бабушкой. Разговаривать я мог только с бабушкой – без напряжения и стыда. Она была неграмотная (ни читать, ни писать) крестьянка, на которой женился сын помещика (мой дед) после рождения в 1930 г. моей матери... Итак, я молчал. Молчал. Молчал. До тех пор, пока не заметил, что я постоянно говорю – в себя. Внутри себя. Во мне. И днём. И ночью. И во сне. И наяву. Я говорил в себя – но не с собой. С кем? С чем?... Однажды дед красил полы в доме. Масляной краской, которая пахла небом, иконой, воздухом иным. Я наблюдал за тем, как дед ласкает половицы – любовно и крепко – кистью. И я чувствовал, а иногда и слышал, как доски шепчут: хо-ро-шо-хо-ро-шшшо!.. Я вышел из комнат в кухню (мне было лет 5) попить воды. И вдруг... Вдруг услышал, как кто-то или что-то шепнуло в меня: – И я хочу. И я. Покрась меня, а?.. Я обомлел, но не испугался. Огляделся. И понял – говорил табурет. Старый. Обшарпанный. Самодельный. С дыркой для пальца (для переноски) посередине сиденья. Я отвернулся. Посмотрел в окно. На всякий случай перекрестился. И – понял, осознал, с кем и с чем я говорю-разговариваю, кто и что мне говорит в меня... Вещи, дома, заборы, деревья, птицы, трава, зверьё, кусты, вода, особенно когда она гладкая или когда бежит сверху вниз, свиваясь, сплетаясь в цепочку, которая ловко укладывается в любой сосуд – доверху, всклень. Всё, вся и все говорили не со мной, но в меня. И я отвечал им не в них, а – в меня. Весь мир, и я вместе с ним, говорил в меня.

Не знаю, почему, но мне и сегодня всё это не кажется сумасшествием. Безумием. Так вышло. Ничего не поделаешь... Пельмень кричит, когда его ешь? Вода стонет, когда её рвёшь веслом или ведром? Трава рыдает, когда её косишь? Дерево вопит, когда его рубят? Да. Именно так.

Сегодня понимаю, как начинается музыка. Так, как у меня 50 лет назад? Это у меня – так. У других, возможно, всё происходит по-другому.

Ребёнок находится в состоянии трансгрессии (по М. Фуко, художник, заступив в метафизические сферы, создаёт в пустоте Нечто из Ничего), когда стереотипичность (мышления и говорения) не сдерживает архетипичность миропонимания и миро-строения. Метаэмоция жизни, смерти и любви подавляет любую возможность эмоциональной энтропии, эмоционального эксгибиционизма и вообще гламуризации, стандартизации эмоций. Не отдавайте детей в школу!

Коллективно можно изучать только математику, физику и химию (хотя с физикой не так всё просто). Остальные предметы суть части словесности. Остальные предметы – интимны. Всё коллективное в детстве – это начало известных и неотвязных социальных болезней, когда коллективный человек (а ныне – корпоративный) неизбежно становится шопоголиком, киноголиком, интернетоголиком, клубоголиком, алкогольником etc. Гуманитарно-словесные циклы

дисциплин – антропоцентричны. Мироцентричны. Духоцентричны. Поэтому сегодняшнее уничтожение (или масштабная и тотальная – редукция) гуманитарной сферы науки и образования направлено прежде всего и прямо против человека. Человека как такового. Человек – ребёнок. И он одинок. Всегда одинок в своём душевном существовании. Душевное, духовное всегда словесно. Всегда звучит в человеке. Звучит. Слово звучит – в уме, в сердце, в душе. Как музыка. Слово есть музыка. Я постоянно ощущаю наличие двух «музык»: музыки физической (звучащей во мне) и музыки метафизической (звучащей в меня и звучащей мной). Вторая музыка – онтологична, духовна, объективна и божественна.

На всякий страх есть сосны у реки,
полёт шмеля, исполненный лучами —
всё прочее возьми и отсеки
от сказанного нами.
Пусть голос лишь себя, себя возьмёт
из множества молчаний о пропетом —
над бездной, в нужной музыке без нот
себя сыграет светом.
Держась за звук, протянутый до нас,
не утрашись, о музыка в июле,
ни скрипа сосен, ни обрыва фраз
в шмелином чистом гуле.
Побудут нами берег и река,
пока полёт продлится ниоткуда,
пока полоска тёмная легка
летящему отсюда.

Стихотворение Алексея Порвина – как раз о музыке. О такой музыке, которая есть и свет, и тьма, и жизнь, и смерть, и любовь, и мир, и Бог. Поэт здесь эксплицирует знаки метамузыки. Метаэмоции, метаобразы и метасмыслы приближают нас к метамузыке, к музыке главной, к музыке, слышной не всем и не всякому.

Я крашу табурет. Выпросил у деда кисть и крашу табурет. Крашу табурет – и ему хорошо. Он молодеет. Он постанывает и даже всхлипывает от счастья. Боже, он – балдеет. Как мальчишка (из моего детства), надевающий новые кеды...

Потом я научился выбирать собеседника. Собеседников – так точнее. Ими стали вода (рыбачу с пяти лет), огонь (костёр, печь, камин), небо (от нижнего, исподнего до жирного от звёзд и пустоты), земля (особенно глина, из которой я лепил всё на свете до тех пор, пока пьяный мой папа не сокрушил всю эту мою «выставку херни»), воздух, из которого состоит всё на свете – от воды до звёзд. Думаю, что словесник, художник должен сначала духовно, ментально и эмоционально освоить эти стихии, эти метапредметы и метавещества перед тем, как начинать прикасаться к архевеществу, к археквантам («частицам, клеткам Бога»), прежде чем не имитировать вербально, но вербализовать метасмыслы. Архесмыслы. Божественные смыслы.

РЕКА – ОБЛАКА

Ресница твоя поплывёт по реке,
и с волосом выюн,
и кровь заиграет в пожухлом венке —

и станешь ты юн.
И станешь ты гол как сокол, как щегол,
как прутья и жердь,
как плотской любви откровенный глагол
идуших на смерть.
И станешь ты сух, как для детских ладош
кора старика,
и дважды в одну, как в рекламе, войдёшь —
и стерпит река.

И стерпит земля, небо, вода, воздух и огонь – тебя. Вот о чём здесь говорит Денис Новиков. И ты – стерпишь этот мир, как терпит и стерпливает его мир иной, уже посетивший тебя и говорящий – в тебя.

Человек – универсален. Если он способен существовать в контексте природы и в контексте общества одновременно. В контексте природы все равны. Все разные, но – равные. В контексте природы предметно-личностная валентность отсутствует. В обществе такая валентность лежит в основе прежде всего множественной сегрегации: сегрегации социальной, экономической, политической, а главное – этико-эстетической, когда валентность толпы погашает в человеке универсальность. Созревание слуха, зрения, голоса и т. д. Стереотип убивает стереоскопичность разума, сердца и души. Недавно в одном из интервью меня спросили: вот, мол, город выделил 5–6 млн. руб. приглашённому на День Города Киркорову, – а кого бы Вы пригласили? – Отвечаю: – Земфиру. Кто-то и что-то (Нечто) поёт в неё – и мы слышим Вторую Музыку.

Есть ли третья, четвёртая и т. д. музыка? Наверно, есть. Поэты не регламентированы набором нот, давлением стиля и моды. Они могут расслышать и пятую музыку. Музыку, звучащую в поэта. Как много музык в Боратынском, в Пушкине, в Тютчеве, в Мандельштаме, в Ахматовой, в Заболоцком, в Седаковой! Поэт – сам – музыка.

играли себе, собирали цветы.
это было в начале.
названия возникали из пустоты
и пустоту означали.
пониманье как смерть приходило ко мне.
я ложился в траву, безымянный.
голова подключалась к земле,
становилась легкой и пьяной.
и опять мы играли, и нас, дураков,
прибавлялось.
дул бессмысленный ветерок,
пустота повторялась.
сколько наших костей, сколько лет.
не собрать. собираю.
я смотрю на закат – как на фотопортрет.
узнаю. забываю.

Стихи Владимира Беляева – стон, исходящий из поэта, в которого говорит та самая, Вторая Музыка. Иная. Подлинная. Первоосновная. Главнопричинная. Архевещество Вселенной. Проникающие в жизнь «частицы Бога», первокванты, архекванты души и тела...

Табурет стал новым. Я вышел на крыльцо и сказал в себя: пора на рыбалку. Самодельная удочка (удилище сосновое, тонкое, крепкое, дешёвая леска и перьевой, тоже самодельный поплавок, крючок № 4 и т. п.) хранилась на поленнице дров, на огороде (или «огородчике», т. к. главный огород – 12 соток картошки – отстоял в стороне, в паре вёрст отсюда); там же, на дровах, стояли алюминиевый бидончик и пустая консервная банка для червей. Я зашёл на огород и увидел кота Васю, чёрного, немножко сивого уже от старости. Он услышал моё «Пора на рыбалку» и ждал, чтобы сопроводить меня до озера, чтобы присесть на травку в сторонке, куда я иногда бросал ему пескарика. Вася всегда ходил на озеро со мной: он шёл впереди, не оглядываясь, но повернув уши назад – ко мне. Он шёл и приговаривал время от времени: – Про рыбку-то не забудь, парень, да?.. Я накопал, точнее – копнул червей – и пошёл за Васькой в гору, за ограду, к озеру, замирая от счастья предстоящего одиночества, когда вода смотрит неотрывно в тебя, а небо в тебя говорит.

2014

Война в войне

Россия – страна телескопическая (как, наверное, и другие страны – государства). Множественная природа РФ (и СССР, и РСФСР, и Российской Империи тоже) очевидна не только в экономическом, политическом и вообще социальном отношении, но и прежде всего – в культурной сфере. Утверждаю: ядро русской / российской культуры (словесность, искусство и фундаментальная наука) всегда существовало и функционировало в подпольном, полузапрещенном или – чаще – в запрещенном виде. Именно «виде», а не «форме»: форма, например, написанной и пишущейся в стол литературы отсутствует – её не печатают, не публикуют, не изучают, – всё это – обретение книжной формы, происходило и происходит постфактум. От протопопа Аввакума до Н. И. Новикова (первого свободного русского журналиста 18 в.), до А. Н. Радищева, А. С. Грибоедова («Горе от ума» было опубликовано более чем через полвека после смерти своего автора – драма / комедия в стихах стала первым массовым образом русского / российского самиздата), до Д. В. Давыдова (гусара, партизана, кавалерийского полковника и баснописца), до прозы О. Э. Мандельштама, до А. И. Солженицына. Именно с книжкой последнего я чуть было не погорел. Чуть было не «спалился». Бродского, вообще поэзию и в том числе серебряного и начала свинцового века, Булгакова, Платонова и др. мы читали тайком (и это было не так уж и давно: в семидесятые годы 20 в.!), передавая друг другу перепечатки текстов на папиросной (чаще) бумаге (седьмой экземпляр из пишущей машинки был уже размылен, но всё ещё «читабылен»). Однажды Дима В. (в обмен на «папиросные» стихи Мандельштама) дал мне почитать (на сутки – это было по-божески, как правило, давали читать такие вещи «на ночь») «Ивана Денисовича» Солженицына, книгу запрещённую и изъятую из всех библиотек в издании серии «Роман-газета». Шёл 1976 год. Я – студент филфака, первокурсник (это ещё до Игоря Сахновского, который присоединился к нам на втором курсе и с которым мы 4 года просидели за одной партией). Читал я «Денисыча» прямо на «парах», на лекциях, держа книгу (точнее, журнал) и пряча её в минуты шухера – опасности в парту – в отделение для портфелей (в те поры в рюкзаках носили картошку или ходили с ними в походы и на рыбалку-охоту). Так и шло: читаю – не читаю, хоронюсь, а книжка ходит туда-сюда с колен в парту и обратно. Когда «Денисыч» нырнул в стол очередной раз, – прозвенел звонок. Я вышел со всеми из аудитории (а. 417 на философском) – и забыл-оставил-проворонил «запрещёнку» в парте. Вспомнил я о «Денисыче» только дома, на Уралмаше, в полночь... Господибожетымой! Я – попал. Или – «влетел», «опарафинился». Книгу найдут или уже нашли (второе – очевиднее и вероятнее). Вычислят факультет, курс и группу по расписанию. Опросят – допросят. Конечно, признаюсь. Скажу, книга моя, от деда досталась. И – меня тихо или громко вытурят из универа. И пойду я, властью палимый, к такой-то матери...

Ночью не спал. Отгонял видения: комитет ВЛКСМ, партком УрГУ, ну и просто Комитет. Волчий билет... Бедная моя мама! Она с ума сойдет: и в армии у меня было не всё гладко, не шероховато, а разухабисто и горячо, и в университете («в институте», как говорила мать) – дело швах. Вах! – везучий я, да?..

Утром в 7.00 (за 2 часа до занятий) я был «под колоннами» – у огромных дверей, барских дверей в храм науки и в мой ад. Я постучал. Я позвонил. Открыл Миша, ночной безумный сторожака. Как-то я дал ему рубль – он был невероятно беден и несчастен. И он меня помнил. И – впустил. Через 40 секунд я был на четвёртом этаже в 417 аудитории. «Денисович» был на месте. Одна ночь Ивана Денисовича прошла спокойно для него и спасительно для меня. Такие дела.

Так мы жили. Так и живём. Политическая цензура сменилась цензурой рынка.

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,

Как подкову, дарит за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него – то малина,
И широкая грудь осетина.

О. Мандельштам погиб из-за этого стихотворения. Он погибал долго – пять лет. Нынче времена иные – «вегетарианские», как говаривала А. Ахматова. Но к цензуре рынка сегодня приросла цензура иная: цензура пошлости (толпа), цензура лицемерия (власть), цензура целесообразности (политика) и т. д. Страна распалась не только социально (нищие – бедные – бизнесмены – чиновники – олигархи – правители), но и геополитически; сегодня на территории РФ существует несколько «стран»: Россия – 1 (главная), назовём её не Москва, а INMKAD (все деньги РФ сосредоточены в имперской казне и, соответственно, в кошельках и кошелёчках бизнеса и чиновничества), здесь даже искусство – добровольно – стало крепостным: музыканты, певцы, живописцы и т. п. живут «чёмом», корпоративами и прочей дешёвкой; словестность беллетризировалась и работает на Рублёвку, тусовку etc., – назовём такое искусство и такую «литературу» – нижепоясными («поющие стринги» и пишущие гениталии); Россия – 2, это метагосударственное образование, нависшее над всей страной, над Россией реальной, над РФ, – Соединенные Штаты Чиновников (СШЧ); Россия – 3, Россия денег, рынка, силовиков, коррупционеров etc.; Россия – 4, страна гастарбайтеров; Россия – 5, или Сочи – Россия, страна Олимпийского Огня, страна всероссийских мероприятий международного и всемирного масштабов по «распиливанию» бюджетных целевых средств; Россия – 6, а это – «Россия, нищая Россия» – самая стабильная страна в стране; Россия 6 + n, РФ (и СССР, и Российская Империя) – государство мобильное во всех отношениях, имеющее десятки своих вариантов – реализаций и функций.

Сегодня в России идёт война. Война культурная, священная война. «Посткнижная культура», переходящая в следующее своё состояние посткультурного пространства, убивает (с помощью власти) литературоцентричную культуру. И. Бродский предсказывал войну культур с различным этно-религиозным содержанием (она уже идёт), но внутри этой глобальной войны происходит война сердцевинная. Война культуры и пошлости (толпяной, денежной, рыночной, государственной). Война в войне.

Удушение русской словесности сопровождается фронтальными, фланговыми, тыловыми и вертикальными (сверху) массивованными ударами по гуманитарной фундаментальной

науке. Насильное реформирование высшей школы (после ЕГЭ – роботизации средней школы), её разрушение, стирание её демократических и либеральных (свободолюбивых) основ (выборов, ректоров, деканов, разрушение факультетов, кафедр и т. п.), редукция набора студентов на филфаки, истфаки и философские факультеты (в Челябинском университете в этом году не было набора студентов на филфак! – отменили чиновники; ну да, их дети учатся в сорбоннах и кембриджах, их российские вузы не интересуют), сокращение штатов ППС и т. д. и т. п., – всё это приводит (уже привело) к тому, что гуманитарная сфера науки и образования снизилась почти до нуля («нулевизация» – термин Минобра).

Однако гуманитарная сфера фундаментальной науки есть территория формирования и воспитания универсального научного мышления. Без этой сферы не было бы ни Платона, ни Пифагора, ни Коперника, ни Эйнштейна, ни Лобачевского, ни Н. Бора, ни П. Капицы, ни Л. Ландау, не говоря уже о Паскале, Спинозе, о немецких философах, о великих филологах-мыслителях и др. Любой ученый-естественник есть философ, филолог, историк и в целом словесник. Слово – это носитель этики, эстетики и научной семантической точности, а с другой стороны – стереоскопичности знаний (когнитивный аспект семантики, значения слова). Гуманитарные фундаментальные науки прежде всего – нравственны. Именно этого и боится власть. Власть – любая. Вольнодумство (то бишь нравственность) сегодня попирается, вытаптывается, газоманами и целесообразниками-прагматиками, а главное – поклонниками и служителями денгиологии. Философия, история, филология сегодня власти не нужны. Вольнодумие, вольномыслие, добромыслие и великодушие (всё это – основы нравственности социальной) – не пахнут нефтью и деньгой. Любовь к нефти и газу – вот признак временщика. Стыдно смотреть социальную рекламу «Мы первые в мире по добыче газа и т. д.», – осознавая и зная, что сельская Россия (Россия – б) не газифицирована до сих пор. В России нищей газа нет. В городах есть. Не во всех, конечно. А в посёлках, сёлах и деревнях – нет. И не будет. Никогда. Почему? Потому что деньги бюджетные тратятся на сверхвысокие зарплаты и пенсии госслужащих (пенсия от 40 тыс. руб.!). Мужик, отпахавший на заводе 45 лет, получает пенсию 8–10 тыс. А невольнодумец чиновник – 40 тыс. Ножницы. Инструмент, вообще-то, режущий и колющий. Почему богатей, проторчавший и пробизнесовавший недолгое время в министерствах или в депутатах, как пенсионер богаче в десятки раз профессора, водителя, инженера и рабочего?! Почему полуграмотный чиновник не чета инженеру, учёному, механику, слесарю и врачу? Кто так решил?

Художнику – легче. Он живёт в России и Culture. Он создаёт Красоту. Труднодоступную. Редкую. Подлинную. Способную противостоять пошлости. Пошлости толпы. Толпы, которая пользуется готовой красотой, красотичей – глянцевою, гламурной. Толпы, насыщающейся готовой информацией – занимательной, аттрактивной, пустой. Художник – творец. Или – досотворитель мира. Нехудожник – креативен. Его петляющая креативность мутна и однообразна (гламур, кровь, секс, прикол, толпа). Он питается готовыми образцами асемантической информации (сплетни, слухи, понты) и популярной, а значит пошлой красотичей. Главное в человеке – разум, сердце и душа. А не желудок, гениталии и социальные амбиции, производящие на свет столь приятные и вкусные микроэмоции. Человек (подлинный, нерасчеловеченный) – онтологичен (он есть часть бытия – мыслящая и страдающая, т. е. духовная) и метаэмоционален: он проживает не то, что проживает его, а то, что живёт им – Жизнь, Смерть, Любовь, Бог и Вечность.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.